

ЗАРУБЕЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ

МАУРИЦИО де ДЖОВАННИ БОЛЬ



ЗИМА КОМИССАРА РИЧАРДИ

ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ «ЛУЧШИЙ ИТАЛЬЯНСКИЙ АВТОР 2010 ГОДА»

Поэтичный, изысканный и атмосферный итальянский детектив.

Тонкая психологическая проза для ценителей серьезной
и качественной литературы...

amazon.com

Комиссар Ричарди

Маурицио де Джованни

Боль

«Центрполиграф»

2007

де Джованни М.

Боль / М. де Джованни — «Центрполиграф», 2007 — (Комиссар Ричарди)

Неаполь, начало 30-х годов XX века. Луиджи-Альфредо Ричарди, комиссар мобильного отряда уголовной полиции округа Реджиа в Неаполе, известен удивительной способностью раскрывать самые безнадежные дела. Все поражаются его деловой хватке, и никто не знает о потрясающем даре комиссара. Ричарди чувствует боль умерших насильственной смертью, может прочесть последние мысли, услышать последние слова несчастных. Этой зимой он расследует громкое преступление, совершенное в Королевском театре, – убийство Арнальдо Вецци, величайшего тенора своего времени и любимца самого дуче. Певца находят мертвым в гримерной, с осколком разбитого зеркала, вонзившимся ему в горло. Ричарди осматривает место преступления, подмечает все детали и старается выстроить для себя картину преступления. Ему ясно, что убийство было непредумышленным. Однако пока у него нет ни одного подозреваемого.

© де Джованни М., 2007

© Центрполиграф, 2007

Содержание

1	5
2	8
3	11
4	13
5	14
6	17
7	20
8	24
9	27
10	30
11	32
Конец ознакомительного фрагмента.	34

Маурицио де Джованни

Боль

1

Посвящается моей матери

На перекрестке между храмом Святой Терезы и Музеем стоял мертвый мальчик и смотрел на двух живых мальчиков, которые, сидя на земле, играли в путешествие по Италии с помощью шариков. Он глядел на них и повторял: «*Я спущусь? Смогу спуститься?*» Мужчина без шляпы, еще не видя мертвого мальчика, ощутил его присутствие рядом. И уже знал, что левая сторона тела – первое, на что упадет его взгляд, – у ребенка цела, но с правой стороны череп размозжен ударом, плечо вдавилось в грудную клетку и проломило ее, таз закручен вокруг сломанного позвоночника.

В этот ранний утренний час среды многоэтажный дом на углу отбрасывал на улицу полосу холодной тени. Мужчина знал, что на третьем этаже заперт на засов маленький балкон, а на низкой решетке, ограждающей его, висит черный траурный флаг. Он мог лишь догадываться о том, как больно и горько молодой матери, которая, в отличие от него, больше никогда не увидит своего сына. «Так лучше для нее, меньше мучений. Он весь переломан», – подумал мужчина.

Когда он проходил мимо умершего ребенка, тот, наполовину скрытый тенью, поднял взгляд и спросил:

– Я спущусь? Смогу спуститься?

Прыжок с третьего этажа, и на мгновение ослепительная вспышка боли.

Мужчина опустил глаза и ускорил шаг.

Когда он проходил мимо живых мальчиков, они по-прежнему с серьезным видом играли в путешествие по Италии. «Бедные дети!» – подумал он.

Мужчину без шляпы звали Луиджи-Альфредо Ричарди. Он служил комиссаром в мобильном отряде уголовной полиции округа Реджиа в Неаполе. Ему исполнилось тридцать один год, и, значит, он был ровесником своего века. Девять лет он прожил при фашизме.

Случилось все это четвертью века раньше, июльским утром, в Фортино, в провинции Салерно. Луиджи-Альфредо был единственным сыном барона Ричарди ди Маломонте. Отца своего он не помнил, барон умер очень молодым. Мать Луиджи-Альфредо, у которой были до крайности расшатаны нервы, постоянно болела и умерла в лечебнице, когда он учился в иезуитском колледже. Его память навсегда запечатлела, какой он увидел ее в последний раз: смуглая и, в тридцать восемь лет совсем седая, с лихорадочным блеском в глазах. Худая и маленькая, в слишком большой для нее кровати.

Однако именно это июльское утро полностью изменило жизнь маленького Луиджи-Альфредо. Он нашел тогда кусок дерева. В сознании ребенка мгновенно ожили рассказы управляющего Марио, и деревяшка превратилась в саблю Сандокана, Малайского Тигра. Марио горячо любил романы Сальгари, и мальчик часами напролет мог слушать его, широко раскрыв глаза и затаив дыхание. С таким оружием в руке никакие дикие звери и свирепые враги не страшны, но он хотел в джунгли. Ко двору примыкал маленький виноградник, и мальчик решил отправиться туда. Ему нравилась тень от больших виноградных листьев, неожиданная прохлада, жужжание насекомых. Маленький Сандокан, которого сабля в руке сделала дерзким, шагнул в темноту под лозами и стал крадучись пробираться по своему воображаемому лесу. Цикады

и шершни в его игре превратились в разноцветных попугаев, и он почти слышал их зазывные крики.

Ящерица побежала в проходе между лозами, оставляя за собой след на гравии. Мальчик погнался за ней, немного пригнувшись и высунув кончик языка. Его зеленые глаза сосредоточенно смотрели вперед. Ящерица скользнула в сторону.

Мальчик сел на землю под лозой и тут в полутени увидел мужчину, будто укрывавшегося от свирепого июльского зноя. Тот сидел, опустив голову, руки, упавшие вдоль тела, касались ладонями земли. Могло показаться, что он спит, если бы не слишком прямая спина и вытянутые на гравии ноги, поза не характерная для спящего. Одежда, уместная для зимы – шерстяной жилет, фланелевая блуза без воротника и тяжелые штаны из толстого холста, подвязанные на поясе веревкой, – свидетельствовала о том, что мужчина поденщик. Маленький Сандокан, сжимая в руке свою саблю, отметил эти подробности в памяти, но не сообразил, что человек одет не по сезону.

А потом он увидел рукоятку ножа для обрезки деревьев, торчавшую с левой стороны из груди поденщика, словно ветка из ствола дерева. Темная жидкость пропитала блузу и капала на землю. Уже натекла маленькая лужица, Малайский Тигр хорошо видел ее даже в тени лозы. Там же чуть дальше он заметил ящерицу. Она замерла, глядя на мальчика, будто разочарованная тем, что он прекратил погоню.

Мужчина вдруг медленно поднял голову и повернулся к Луиджи-Альфредо, при этом шейные позвонки его еле слышно хрустнули. Посмотрел на мальчика затуманенным взглядом из-под полуопущенных век. Цикады перестали стрекотать. Время остановилось.

– Господи! Я и пальцем не тронул твою женщину!

Луиджи-Альфредо громко закричал и убежал прочь. Его испугала не эта неожиданная встреча, рукоятка ножа или лужа крови. Он бежал от боли и горя, которые выплеснул на него мертвый поденщик. Никто никогда не говорил мальчику, что причиной убийства, произошедшего в винограднике за пять месяцев до этого дня, стала ревность другого поденщика. Преступник бежал из этих мест, а перед этим убил свою молодую жену. Поговаривали, что он присоединился к шайке разбойников в Лукании. Смятение и ужас мальчика породило его разыгравшееся богатое воображение и любовь к одиночеству, а также болтовня кумушек, которые по вечерам искали прохлады во дворе, устроившись за шитьем под окном его комнаты. Убийство в винограднике они называли «тот случай».

Луиджи-Альфредо мысленно окрестил свою встречу с мертвецом так же – «тот случай». «С тех пор, как со мной произошел «тот случай», как я понял по «тому случаю»... Случай, определивший его судьбу. Даже Роза, его няня, которая посвятила ему всю жизнь и опекавшая до сих пор, не поверила ему тогда. В ее глазах сначала мелькнула печаль, потом – на мгновение – страх. Должно быть, Роза опасалась, что мальчику предназначено страдать от болезни, которая погубила его мать.

И Луиджи-Альфредо понял, что больше не должен говорить о своем видении ни с кем. Это принадлежит только ему, он проклят и вынужден держать все в себе.

Следующие несколько лет он определял границы того, на что указал «тот случай»: видел людей, умерших насильственной смертью, и переживал сильнейший всплеск чувств, испытанных ими перед смертью, ощущал внезапную энергию последней мысли. Его видения, подобно фотографиям, запечатлевали последнее мгновение существования человека. Посмертный образ постепенно мерк и в конце концов исчезал совсем. Это было похоже на фильмы, неоднократно виденные им в кинематографе. Правда, всякий раз видел одно и то же – покойника со следами ран в последний момент жизни. И слова, бесконечно повторяемые, словно видение хотело закончить работу, которую начала душа перед тем, как ее вырвали из тела.

Более всего он ощущал последние эмоции умерших. Иногда боль, иногда удивление, гнев или печаль. И даже любовь.

По ночам, когда дождь стучал в окно и уснуть не было никакой возможности, комиссар вспоминал место одного преступления, связанного с образом маленького мальчика. Ребенок сидел в тазу для мытья, где его утопили, и тянул руку в ту сторону, где стояла в момент смерти его мать. Он просил помощи у своей убийцы! Комиссар почувствовал всю любовь этого малыша к матери. Сын любил только ее одну, любил без причины и без всяких условий.

В другой раз, стоя перед трупом мужчины, которого в момент оргазма заколола обезумевшая от ревности любовница, он так явственно ощутил всю силу наслаждения убитого, что вынужден был прижать ко рту носовой платок и срочно выйти из комнаты.

Таково было его проклятие, налетавшее на него, как призрак скачущей лошади, от которого невозможно увернуться. Ничто не предупреждало комиссара о грядущем видении, и после не оставалось никаких физических ощущений, кроме памяти об увиденном. Еще одно воспоминание – еще один шрам на душе.

2

Луиджи-Альфредо Ричарди был среднего роста, худощавый и смуглый, с прямым и тонким носом, такими же губами. Самым замечательным в его лице были выразительные зеленые глаза. Черные волосы он зачесывал назад и смазывал бриолином. Иногда какая-нибудь непослушная прядь выбивалась из прически, падала на лоб, комиссар резким движением возвращал ее на место.

Маленькие, почти женские кисти рук постоянно пребывали в нервном движении. Комиссар знал, что они выдают его чувства, и потому всегда держал руки в карманах.

Он мог бы вообще не работать, а жить на доходы от семейного имущества, но мало интересовался этими доходами. Родственники, встречаясь с ним летом в деревне, что случалось очень редко, напоминали сыщику-барону, что ему следует бывать в обществе, более приличествующем его статусу. Но он скрывал от всех и размеры семейных доходов, и свой титул, желая быть как можно менее заметным и жить той жизнью, которую выбрал. Точнее, жизнью, которая выбрала его. Если бы он мог, сказал бы другим: попробуйте чувствовать боль во всех ее проявлениях постоянно, непрерывно. И ежедневно желать покоя, требуя справедливости. Он решил изучать юриспруденцию. Написал диссертацию по уголовному праву. А потом поступил на службу в полицию. Это был единственный способ принимать услышанные просьбы и облегчать эту тяжесть. Единственный способ хоронить умерших в мире живых.

Комиссар Ричарди ни у кого не бывал в гостях, никуда не ходил по вечерам. Женщины у него тоже не было. Вся его семья состояла из старой няни Розы, которая уже разменяла восьмой десяток. Она помогала своему питомцу, была безгранично предана ему и нежно его любила, даже не пытаясь понять его взгляды и мысли.

Комиссар работал допоздна отдельно от коллег, те старались держаться от него подальше. Начальство пугали его отличные деловые качества. Он обладал необыкновенной способностью раскрывать самые загадочные преступления и полностью отдавался работе, чем, собственно, и вызывал настороженность. Его подозревали в скрытом честолюбии и желании взобраться повыше по служебной лестнице, потеснив кого-либо из них, и занять их место. Подчиненным не нравились его угрюмость и молчаливость: никогда не улыбнется, не скажет лишнего слова. Ричарди шел странными путями, не очень строго соблюдал положенные процедуры, хотя в конце концов всегда оказывался прав. Наиболее суеверные, а таковых в городе было немало, смутно чувствовали в манере Ричарди нечто сверхъестественное. Он весьма необычно подходил к расследованиям, в обратном порядке, следуя за ходом событий от конца к началу. И полицейские, получая приказ работать непосредственно под его началом, чаще всего недовольно морщились. К тому же расследования шли непрерывно и завершались лишь по раскрытию преступления. Никакого отдыха ни ночью ни днем, даже по выходным, пока виновные не оказывались на каторге. Словно в качестве жертвы преступления всякий раз оказывались его родственники или знакомые.

Однако некоторым сослуживцам нравилось, когда Ричарди отказывался в пользу бригады от денежных премий, которые получал за самые ответственные расследования. Кроме того, он всегда был на службе, уступал другим свою очередь на отпуск, а если подчиненный ошибался, брал на себя его вину перед начальством. Правда, потом он устраивал нерадивому коллеге разнос и строго требовал, чтобы тот был внимательнее.

И все же среди сослуживцев у него был один настоящий друг – бригадир Рафаэле Майоне.

Майоне недавно перешагнул пятидесятилетний рубеж и был очень доволен, что до сих пор жив и силен. Он любил по вечерам за столом повторять своей жене и пятерым детям:

«Возблагодарите Господа за то, что у вас есть еда, и судьбу за то, что отец до сих пор не убит». При этом его глаза мгновенно наполнились слезами, он вспоминал своего старшего сына Луку.

Лука тоже стал полицейским, но ему повезло не так, как везло отцу: прослужив год, Лука был убит ударом ножа во время обыска в квартале Санита. С тех пор прошло три года, но боль не утихала. Жена бригадира с тех пор не сказала ни слова о Луке, словно никогда и не существовал этот красивый и сильный молодой человек, который всегда смеялся, брал ее на руки и кружил в воздухе, шутя называя «моя невеста». Но это лишь внешне. В глубине же души он вытеснил своих братьев и сестер и был вместе с ней весь день.

Именно смерть сына сблизила Майоне с Ричарди. Комиссар одним из первых прибыл тогда на место преступления. Он вежливо попросил Майоне выйти из винного погреба, где было обнаружено тело Луки – в луже крови, с ножом в спине. Ричарди оставался один всего несколько минут. Когда же он вышел из темноты, его зеленые глаза светились, как у кошки, хотя и были полны слез. Он подошел к Майоне и на виду у всех присутствующих, которые растерялись рядом с убитым горем, несчастным отцом, сжал ему руку чуть ниже плеча. Майоне с тех пор помнил, какими неожиданно сильными оказались пальцы Ричарди. И тепло его ладони, которое почувствовал даже через ткань униформы.

– Он любил тебя, Майоне. Любил так, что мог бы за тебя умереть. Своей последней мыслью он позвал тебя. Он всегда будет рядом с тобой и со своей матерью.

Несмотря на невыносимую, всепоглощающую боль, накрывшую его, Майоне почувствовал в этих словах нечто такое, отчего по спине и шее пробежала дрожь. Ни тогда, ни позже, хотя за эти годы во время расследований он и Ричарди много раз оказывались рядом в долгих поездках или сидели в засадах, бригадир не спросил друга, как тому удалось узнать, о чем думал Лука в последние мгновения жизни. И почему Ричарди именно ему передал последнее послание сына. Но Майоне знал, что все так и было, комиссар действительно видел и чувствовал то, о чем сказал. Это были не обычные – дежурные – слова утешения, соболезнования, которые он сам столько раз повторял родным умерших.

Тогда-то Майоне и подружился с Ричарди. В ужасные дни, последовавшие после смерти Луки, они не знали отдыха и не щадили ни себя, ни других. Не ели, не пили и не приходили домой. Ночью, утром, днем и вечером они пробивали крепкую стену молчания жителей квартала, обменивались друг с другом полученными сведениями. Они даже пообещали закрыть глаза на незаконную торговлю, таким образом приняв сторону противника с одной лишь целью – схватить мерзавца-убийцу из погребка. Даже Майоне, которому ярость придавала силы, в конце концов сдался усталости, но Ричарди – нет. Он словно горел в огне и работал как одержимый.

Они выследили убийцу в соседнем квартале, в кладовой, где хранились краденые вещи. Он веселился в кругу друзей, когда Майоне и Ричарди ворвались туда вместе с полицейскими. В операции участвовали двенадцать человек, каждому хотелось схватить убийцу Луки Майоне. Когда большую комнату освободили от сообщников убийцы и краденых вещей, оказавшись лицом к лицу с Ричарди и Майоне, негодяй моментально утратил весь свой бандитский кураж, захныкал и стал просить, чтобы ему сохранили жизнь. Бригадир взглянул на убийцу, и в это время маленький сын негодяя протянул отцу мяч, сделанный из подтяжек. У мальчика были красивые глаза. Он улыбался. Майоне повернулся и молча вышел из комнаты. Именно после этого Ричарди сердечно привязался к Майоне, а Майоне стал верным спутником Ричарди. Всякий раз перед тем, как комиссар отправлялся на задание, бригадир лично давал указания команде, сопровождавшей Ричарди. Он знал, что при первом появлении на месте преступления комиссара надо оставить одного, а потому остальных полицейских и близко к Ричарди не подпускал. Это касалось свидетелей, рыдающих родных и просто любопытных. В те первые долгие минуты Ричарди знакомился с жертвой, пускал в ход свою легендарную интуицию и собирал данные, чтобы начать охоту на преступника. Затем Майоне создавал противовес уеди-

нению и молчанию Ричарди своим врожденным добродушием и умением говорить с людьми. Общаясь с собеседником, он действовал напрямик, при этом никогда не упускал из виду возможные опасности. Его друг-комиссар, напротив, всегда шел навстречу опасностям безоружный. Дерзость Ричарди иногда казалась беспечностью или даже инстинктивной тягой к самоубийству.

Майоне подозревал, что его друг анализирует каждую смерть, постигая ее суть с маниакальной страстью исследователя, хочет дать ей определение, раскрыть ее тайну, и ему не очень интересно, останется он в живых после этого или нет.

Майоне не хотел потерять Ричарди. Прежде всего, простодушный бригадир искренне верил, что комиссар принял часть души его погибшего сына. Кроме того, Майоне со временем полюбил нелюдимого комиссара, его мимолетные улыбки, отголосок душевной боли в движениях беспокойных рук.

И продолжал оберегать комиссара от опасностей – в память о Луке.

3

В холодное ветреное утро среды Ричарди быстро спускался по площади Данте, как всегда держа руки в карманах темно-серого пальто, немного втянув голову в плечи. Комиссар не отрывал глаз от земли, не глядя на город, при этом чувствуя его.

Ричарди знал, что переходит невидимую границу между двумя мирами, находящимися между площадями Данте и Плебисцита. Внизу – город аристократов и буржуа, культуры и государственных законов. На холме – кварталы бедноты, живущие по своим законам и правилам, столь же строгим, подчас, возможно, еще более суровым. Один город сытый, другой голодный. В одном праздник, в другом отчаяние. Сколько раз Ричарди видел эту резкую противоположность между двумя сторонами одной медали.

Вот и улица Толедо – та самая граница между мирами и ее старинные особняки. В особняках еще было тихо, но задворки потихоньку просыпались, распахивая окна, выходявшие на переулки, и домохозяйки запевали свои первые песни.

Открывались ворота храмов, фасады которых были втиснуты между другими зданиями, и верующие заходили внутрь, чтобы попросить Бога благословить наступающий день. По камням мостовой стучали колеса первых omnibusов.

Утро – тот редкий случай, когда два мира смешивались, но лишь в одном направлении: бедняки проникали через границу в город богатых, как молекулы растворителя проникают сквозь мембрану вещества с более крупными молекулами.

Из лабиринта переулков Испанских кварталов на улицу Толедо спускались со своими тачками уличные торговцы, оживленно расхваливая свой товар. Из бедных портовых кварталов и с окраин в эти переулки поднимались искусные ремесленники – сапожники, перчаточники, портные. Они шли в строящийся жилой квартал Вомеро или в мастерские, притулившиеся в сумрачных переулках. Комиссару нравилось думать, что это благодатные минуты покоя и взаимного обмена между двумя мирами перед тем, как одни обозлятся и возненавидят, ощутив неравенство и голод, замышляя преступления, а другие, опасаясь нападения, станут готовить плети для преступников.

На углу маленькой площади Карита Ричарди увидел призрак, который встречал здесь каждое утро вот уже в течение нескольких дней – образ мужчины, которого пытались обокрасть. Пострадавший сопротивлялся, но был до смерти забит палкой. Из проломленного черепа сочилось мозговое вещество, кровь залила один глаз. Но второй глаз все еще сверкал от ярости, и рот с разбитыми зубами твердил без устали, что человек ни за что не отдаст свои вещи. Ричарди подумал о воре, которого теперь невозможно найти в дебрях Испанских кварталов, о голоде и о цене, которую заплатили жертва и палач.

Как обычно, он пришел в полицейское управление первым. Охранник у входа салютовал ему по-военному, Ричарди ответил легким кивком. Комиссар не любил проталкиваться сквозь толпу, когда во дворце Сан-Джакомо уже становилось шумно и многолюдно. Ему неприятно было идти на рабочее место под колкие и ядовитые насмешки задержанных, окрики охранников, требующих соблюдения порядка, и громкие споры между собой адвокатов. Гораздо больше импонировали ему эти утренние часы, когда парадная лестница еще чиста, в особняке тихо и кажется, что ты попал в восемнадцатый век.

Открыв дверь своего кабинета, комиссар, как обычно, почувствовал знакомый запах. Пахло старыми книгами, гравюрами, немного – пылью прошлого и воспоминаниями. Старые кожаные кресла, два стула перед письменным столом, потертый бювар оливкового цвета. Чернила в хрустальной чернильнице, вставленной в одно из гнезд письменного прибора. Письменный стол светлого дерева и перегруженный книжный шкаф. Свинец осколка гранаты, который когда-то привез в Фортино с войны старый Марио. Этот осколок служил оружием маленькому

Луиджи-Альфредо во множестве воображаемых боев, а теперь стал ненадежным пресс-папье. Солнечный свет, словно божий дар, пробивался сквозь запыленное оконное стекло, достигал стен и освещал все закоулки кабинета.

«Ну и умники!» – насмешливо подумал Ричарди и улыбнулся. Маленький король без сил и великий правитель без недостатков. Эти два человека решили указом отменить преступность. Комиссар все время помнил слова полицмейстера, изысканно одетого дипломата, который всю свою жизнь провел идеально угождая власть имущим. Самоубийства не существуют, убийства не существуют, грабежей и ранений тоже нет, за исключением неизбежных или необходимых случаев. Народ не должен ничего знать, и в первую очередь ничто не должно попасть в газеты. Фашистский город чистый и здоровый, в нем нет места таким гнусным делам. Режим должен выглядеть прочным как гранит. Горожанин должен чувствовать, что ему нечего бояться, потому что его безопасность под надежной охраной.

Но Ричарди знал, что преступление – темная сторона души. Он понял это намного раньше, чем изучил по книгам. Та же энергия, которая заставляет человечество двигаться, сбивает с пути, заражает умы, образуя в них гнойные нарывы, которые потом лопаются, порождая жестокость и насилие. Его подсознание подсказывало, что в основе всех позорных поступков лежат голод и любовь во всех проявлениях – гордость, жажда власти, зависть, ревность. Он усвоил этот урок. Везде и всюду – любовь и голод. Ричарди обнаруживал их в мотиве каждого преступления, как только упрощал обстоятельства до предела, сняв многочисленную шелуху. Голод, любовь или то и другое вместе. И боль, которую они порождают, постоянным свидетелем которой был он один. «Так что, дорогой Машеллоне, выпускай сколько хочешь указов. Ты, к сожалению, не способен изменить души людей своим черным костюмом и лентой на шляпе. Ты можешь напугать людей вместо того, чтобы насмешить, но не изменишь темную сторону их душ. Люди по-прежнему будут чувствовать голод и любовь».

Майоне тихо стукнул рукой по дверному косяку, а затем появился на пороге кабинета.

– Добрый день, доктор. Я смотрю, здесь открыто. Значит, вы уже пришли. Не мало ли вы отдыхаете в такой холод? В этом году весна запаздывает. Я сказал жене, что нам не хватит денег на покупку дров для печи еще на месяц. Если такая погода еще продержится, дети замерзнут. Как вы себя чувствуете сегодня? Привести вам кого-нибудь на смену?

– Чувствую себя как обычно. Спасибо, сменщика не надо. Я должен составить целую гору отчетов. А ты иди, иди отсюда. Если понадобится, я пошлю за тобой.

На улице раздавались крики первых торговцев с тележками. Проехал, громыхая, трамвай. Стая голубей взмыла вверх в лучах еще холодного солнца. Было восемь часов утра.

4

Прошло двенадцать часов. В кабинете Ричарди изменилось лишь одно – освещение. Пыльная лампа с зеленым абажуром заменила бледное солнце конца зимы. Комиссар по-прежнему сидел, склонившись над столом, и заполнял бланки.

В последнее время он все чаще чувствовал себя служащим, который ведет реестр в учетной организации и обязан большую часть времени переписывать формулы и составлять колонки чисел. Статистика правонарушений, красивые фразы о преступности.

Около двух часов дня он проголодался и вышел без верхней одежды на холод, купить себе пиццу с тележки, стоявшей под стеной управления. Густой дым от кастрюли, где кипело растительное масло, манящий запах жареного, обжигающий жар теста манили его так же неудержимо, как всегда. Это была одна из тех минут, когда ему казалось, что город кормит его, как мать свое дитя. Потом он, как обычно, быстро выпил кофе в «Гамбринусе» на площади Плебисцита, глядя на проезжающие мимо трамваи. Каждый трамвай, как обычно, тянул за собой на прицепе веселых мальчишек. Уличные сорванцы крепко держались за вагон и скользили по рельсам, раскачиваясь из стороны в сторону.

Сжимая в замерзших пальцах чашку свежеприготовленного кофе, комиссар увидел, как к окну «Гамбринуса» подошла девочка. Взгляд у нее был хмурый. Правая рука висела вдоль тела, и в ней был зажат сверток лоскутьев, возможно кукла.левой руки не было. Вместо нее из разорванных мышц выступал белый обломок кости, расколотый пополам, как полено. В боку виднелась вмятина, в нижней части грудной клетки – след пролома. «Попала под телегу», – подумал Ричарди. Девочка посмотрела на него, а потом вдруг приподняла свой сверток, протянула его в сторону комиссара и сказала:

– Это моя дочка. Я ее кормлю и купаю.

Ричарди поставил на столик чашку, заплатил и вышел. Теперь он будет мерзнуть весь день.

В двадцать тридцать в дверях снова возник Майоне.

– Доктор, я вам не нужен? Я ухожу домой. Сегодня у нас ужинают шурин с женой. Я все спрашиваю себя, у них что, нет своего дома? Почему я должен содержать их?

– Нет, Майоне, спасибо. Я тоже скоро уйду, только закончу работу и закрою кабинет. Доброго вам вечера и до завтра.

Майоне закрыл дверь, впусив в кабинет струю холодного воздуха. От ледяного сквозняка Ричарди вздрогнул, как от дурного предчувствия.

Должно быть, это и было предчувствие, потому что меньше чем через пять минут дверь снова открылась, и перед комиссаром вновь возник широкий силуэт коренастого Майоне.

– Один раз хотел уйти домой вовремя, доктор, и не получилось. Алинеи крикнул через рупор от ворот, что пришел какой-то мальчик, говорит, в театре Сан-Карло совершено жестокое преступление. Мы должны пойти посмотреть, в чем дело.

5

В семь вечера священник дон Пьерино Фава, как обычно, стоял у боковой двери – у входа в театр со стороны садов Королевского дворца. Эту дверь охранял его прихожанин Лючио Патрисо. Дружба много значит. Священник не был к нему снисходительнее, чем к другим прихожанам, и даже не уделял ему особого внимания, лишь здоровался, выходя из церкви после мессы. Но Патрисо и это считал для себя честью.

Этими приветствиями дон Пьерино уже давно платил ему за самое большое удовольствие в жизни – возможность слушать оперу. Наивная душа дон Пьерино парила над залом и подпевала артистам, а его губы неслышно повторяли слова, которые он знал наизусть.

Еще в детстве в городке Санта-Мария-Капуа-Ветере, недалеко от Казерты, он, бывало, сидел на земле в саду виллы, где фонограф наполнял воздух волшебными звуками, и слушал музыку затаив дыхание, со слезами на глазах. Так он мог просидеть много часов подряд, не замечая ни холода, ни жары, ни дождя.

В то время он был пухлым мальчиком маленького роста с живыми черными глазами, полными жизни, чья внезапная улыбка заставляла улыбаться других. И он был таким умным и быстрым, что вскоре это обернулось большой заботой для его родителей – сельскохозяйственных рабочих, у которых, кроме него, было еще восемь детей. Что они могли поделать с хитрым и ленивым мальчишкой, который всегда находил убедительный предлог, чтобы не работать?

На этот вопрос ответил священник их прихода. Хмурый ворчун стал все чаще звать мальчика помогать ему по мелочам, потому что хотел видеть рядом веселого, шаловливого ребенка. Так маленький Пьетро стал «Пьерино из церкви». Ему нравились полумрак и прохлада внутри, сильный запах ладана и то, как солнечные лучи проникают через цветные витражи высоких окон.

Но больше всего нравился мощный гулкий звук большого органа. Мальчик даже стал думать, что это голос Бога. Он понял, что не хочет жить нигде, кроме церкви, и тогда осознал, в чем его призвание.

Последовали годы учебы, в течение которых Пьерино сохранил любовь к ближним, к Богу и к музыке. И он делил свое время между этими тремя чувствами – помогал беднякам, по примеру святых, извлекал уроки из жизни и поддерживал религиозную музыку.

Теперь ему было сорок лет, и он уже десять лет служил помощником приходского священника церкви Сан-Фердинандо. Приход был небольшой по площади, но многолюдный. На его территории находились фешенебельные улицы и величественная Галерея, и, кроме того, лачуги кварталов, и лабиринт переулков над улицей Толедо. В центре территории располагался еще один храм, который языческим очарованием манил к себе простодушного дон Пьерино, – Королевский театр Сан-Карло. Его ни разу не впустили туда, но именно из-за театра дон Пьерино всегда отвечал отказом на поступающие из Курии предложения стать священником в другом приходе, отговариваясь тем, что не чувствует себя готовым к этой должности. Он считал, что сам Бог послал ему в дар возможность видеть живое великолепие оперы, чувствовать, как пульсирует этот прозрачный чистый поток искусства, и наблюдать человеческие страсти, изображенные с такой красотой и силой. Сколько Бога было в слезах и улыбках на лицах зрителей в партере, на балконах, на галерее! Сколько человеческой любви и божественной благодати в музыке, которая брала за душу и вносила туда, куда не может добраться ум!

Поэтому он был очень доволен, что остается помощником у старого дон Томазо, который не мешал проявляться его огромной энергии. Уличные мальчишки очень любили дон Пьерино, хотя и насмехались над его маленьким ростом и приземистой фигурой. Они прозвали его «домовой», а по легенде, домовый – маленький коварный дух, надоедливый и иногда злой. Однако все хорошо знали и о том, что дон Пьерино сообщает властям об эпидемиях, то и дело

вспыхивающих из-за плохих санитарных условий в кварталах. Поэтому вполне мог позволить себе единственную слабость – три часа радости пару раз в месяц. По этой причине добрый Лючио Патрисо стал для дона Пьерино самым важным человеком среди прихожан. Священник немного учил математике старшего сына театрального сторожа, а сторож за это пропускал его через вход со стороны садов в вечер премьеры. У дона Пьерино было постоянное место в театре – тесный угол за кулисами, откуда он мог смотреть спектакль, оставаясь невидимым, и откуда открывался такой великолепный вид, что священник не променял бы это место ни на какое другое во всем мире.

Он был на своем месте и 25 марта 1931 года, когда убили Арнальдо Вещи.

Ричарди не любил оперу, не любил места массового скопления людей. Там ощущения и чувства сплетаются в клубок и влияют друг на друга, в результате чего возникает некая субстанция, совершенно не похожая на людей, из которых она состоит. Комиссар по собственному опыту знал, что такое «эффект толпы».

Не нравилось ему и то, какими средствами пользуются в театре, выражая чувства. Он-то хорошо знал, что такое чувства. Лучше любого другого человека. Чувства переживают тех, кто их испытывал, они опускаются и поднимаются, как волна, опуская или поднимая все на своем пути. Он хорошо знал, что нет двух чувств, одинаковых на вкус, а страсть неоднозначна и имеет не столь очевидный облик. И у добра, и у зла тысячи лиц, всегда неожиданных и непредсказуемых.

Поэтому он презирал яркие костюмы, хорошо поставленные голоса и устаревшие слова, вложенные в уста бедняков, которые на самом деле едва не умирали от голода. Нет. Опера ему определенно не нравилась. И в театр он никогда не ходил, хотя знал, как тот выглядит снаружи в вечер незаурядного спектакля. В таких случаях, даже просто проходя мимо театра, Ричарди ощущал праздничное ожидание.

Сейчас комиссар вел за собой маленький отряд в составе Майоне и трех рядовых полицейских. Выйдя из Галереи, они оказались на верхней площадке короткой мраморной лестницы с перилами, которая спускалась на улицу. Ричарди увидел то же, что всегда, – внушительный и массивный Королевский дворец, изящный портик, по которому люди входили в театр, справа – огни на площади Триеста и Трента и кафе, полные веселья и жизни. Он услышал приглушенные звуки музыки и смеха. Слева, кроме Анжуйского замка и деревьев на площади Ратуши, грохот моря в порту.

Но пространство перед театром было не таким, как обычно. И разница бросалась в глаза.

Сотни неестественно притихших людей толпились перед главным входом, не обращая внимания на ветер, со свистом пролетавший через узкий портик. Мужчины, одетые с величайшей элегантностью, женщины в длинных вечерних платьях кутались в верхнюю одежду и придерживали шляпы, чтобы те не улетели. Дети в лохмотьях вставали на цыпочки – на кончики голых, обмороженных пальцев, стараясь хоть что-нибудь рассмотреть. Ни звука, ни слова, только жалоба ветра. Даже лошади, впряженные в ждавшие на улице кареты, не фыркали и не стучали копытами. Торговцы с тележками не предлагали жареные каштаны и сладости. Газовые фонари на фасаде театра бросали пятна света в толпу и вырывали из темноты широко раскрытые глаза, жаждавшие подробностей, меховые воротники и развевающиеся на ветру шарфы.

Появление полицейских подействовало на толпу как камень, брошенный в воду. Люди расступились перед ними, раздался гул: «Что случилось? Что за несчастье произошло? Почему полиция, как всегда, опоздала?» Двое мальчишек робко пытались захлопать в ладоши. В просторном и роскошном вестибюле театра было светло как днем и тепло. Здесь комиссара окружили журналисты, служащие театра и зрители. Говорили все сразу, и поэтому ничего нельзя было разобрать. К тому же Ричарди и Майоне хорошо усвоили свой прежний опыт и знали, что действительно ценная информация добывается с трудом и в борьбе с молчанием.

Ричарди разглядел среди собравшихся маленького мужчину во фраке, который подпрыгивал, словно вращался в круге, и обильно потел. Театральные служащие в униформе беспокойно смотрели на него, поэтому комиссар решил, что это не последний человек в театре.

– Синьор уполномоченный... простите, синьор комиссар... такая трагедия... – бессвязно забормотал влиятельный коротышка. – Чтобы что-то подобное случилось здесь, в Сан-Карло... Заверю вас, никогда в жизни... Никогда на памяти людей...

– Пожалуйста, успокойтесь. Мы уже здесь. Представьтесь, пожалуйста.

– Но... Я герцог Франческо-Мария Спинелли, управляющий Королевским театром Сан-Карло. Или вы меня не узнали?

– Действительно не узнал. Прошу вас, отойдите в сторону, здесь очень суматошно, – холодно ответил ему Ричарди.

Трое полицейских и Майоне в это время удерживали на расстоянии толпу любопытных. Управляющий воспринял этот ответ как пощечину, беспокойство на его лице сменилось обидой. Два служителя в униформе переглянулись, еле сдерживая смех, и маленький управляющий тут же усмирил их ледяным взглядом. Потом с надменным изяществом повернулся на месте и направился к мраморной лестнице. Люди, теснившиеся на ней, расступались, словно Красное море перед Моисеем-карликом.

6

Патрисо, сторож, который дежурил у входа со стороны садов, с тревогой огляделся.

– Проходите скорей, дон Пьерино. Нельзя, чтобы вас увидели. Если заметят, что я впускаю вас, да еще в вечер премьеры, мне не поздоровится. Поторапливайтесь, вы же знаете, куда идти.

Дон Пьерино улыбнулся. Он был счастлив, как ребенок в кондитерской. С неожиданной ловкостью подтянув свою рясу выше лодыжек, быстро взбежал по главной лестнице, сначала повернул направо, потом свернул в коридор балконов и стал подниматься по узкой лесенке, которая вела на подмости. Там он остановился на маленькой площадке и протиснулся в нишу, из которой мог видеть с одной стороны коридор, куда выходили двери артистических гримерных, и лестницу, по которой актеры поднимались на сцену, а с другой – почти всю сцену. Ему приходилось вытягивать шею и вставать на цыпочки, чтобы взору открылся великолепный вид. Он стоял лицом к зрителям, будто был рядом с певцами, но при желании мог видеть и непрерывный труд за сценой. Священник задержал дыхание и приготовился наслаждаться «своим» вечером.

Правда, программа, честно говоря, не отвечала его вкусам. По мнению дона Пьерино, «Сельская честь» и «Паяцы» по-своему очаровательны, но это не главное. Безусловно, сегодня он вновь услышит небесный голос Арнальдо Вецци, величайшего тенора в мире. Он несомненно звезда сезона. В этот вечер он выбрал для себя партию Канио в «Паяцах», не самый лучший выбор. Дон Пьерино предпочел бы услышать Вецци в операх Пуччини, в них все оттенки его голоса нашли бы себе идеальное применение. Но ни одна из этих ролей не была столь значительна, как партия Канио, и священник догадывался, что причина выбора именно в этом. Партитура оперы Леонкавалло позволяла Вецци петь практически все время одному. Никто его не затмевал, он был хозяином положения на сцене.

В зал вошли оркестранты, раздались аплодисменты. Зрители театра Сан-Карло любили музыкантов театрального оркестра и называли их «профессорами».

Этот оркестр был одним из лучших в Италии, возглавлял его дирижер Марио Пелози, строго придерживающийся авторской интерпретации произведений.

Три удара дирижерской палочки по пульта. Руки Пелози взметнулись в воздух, спектакль начался.

* * *

Мраморную лестницу покрывала ковровая дорожка из красного бархата. На верхней ступеньке Ричарди, не останавливаясь, шепнул Майоне, чтобы тот послал полицейских заблокировать все входы, главный и служебный. Ни один человек не должен покинуть театр. Крошечный управляющий провел их сначала по служебному коридору, затем по узкой лесенке и остановился на маленькой площадке, куда выходила одна дверь слева и две спереди. Справа открывался еще один коридор, в котором виднелось еще несколько распахнутых дверей.

– Здесь, – указывая на маленькую дверь слева, сказал герцог, – находится кабинет директора сцены. Дверь впереди ведет в комнату дирижера оркестра. А там... такая трагедия... в моем, в нашем великом театре...

Ричарди огляделся, желая мысленно отметить и запомнить как можно больше подробностей. Дверь, на которую управляющий указал в последнюю очередь, была снята с петель. На полу валялись обломки дерева, засов, почти полностью сорванный, висел на двери и уже

ничего не запирали, хотя был задвинут. На косяках были хорошо заметны повреждения. Судя по положению ручки и характеру деформации задвижки, дверь взломали снаружи.

Перед ней комиссар увидел разноцветную толпу. Паяцы, сицилийцы в народных костюмах своего острова, калабрийские крестьяне, Арлекин, Коломбина. От этой пестроты зарябило в глазах, заболела голова. К тому же в комнате было очень жарко в тяжелом пальто.

– Кто выломал дверь? – спросил комиссар.

– Я, – ответил высокий толстяк с растрепанными рыжими волосами. – Я Джузеппе Лазио, директор сцены.

– Кто вас позвал?

– Мы. Мы принесли сюда костюм, стучали пять минут, звали, но нам никто не ответил, – заявила внушительного вида женщина средних лет в синем фартуке. На шее у нее висели большие ножницы на ленте. Рядом с ней девушка с трудом удерживала в руках вешалку с костюмом паяца, очень пестрым и просторным.

– Пусть все остаются на местах, пока я не выйду из комнаты. Майоне, проследи за этим.

Майоне хорошо знал, что надо делать. Он подошел к снятой с петель двери, заглянул внутрь комнаты, убедился, что там никого нет, и сказал:

– Все отойдите назад. Комиссар, устраивайтесь как вам удобно.

В середине действия «Сельской чести» дон Пьерино приятно удивился. Эта опера, по сути, стала гарниром к «Паяцам», некой закуской перед выступлением Вецци в «Паяцах». Священнику, как и многим другим зрителям, так не терпелось услышать великого тенора, что он охотно поменял бы оперы местами, нарушив канонический порядок представления. Но, к его удивлению, артисты из «Чести» пели так, что их спектакль заслуживал внимания. Тенор, исполнявший партию Турриду, певица-сопрано в роли Сантуццы и особенно баритон в партии Альфио пребывали, кажется, в прекрасной форме и очень желали выглядеть достойно рядом с Вецци. Оркестранты тоже были на высоте, и начиная с хора после интермеццо спектакль стал достопамятным. Полная томления музыка так взволновала дону Пьерино, что он незаметно для себя сошел со своего места и загородил часть узкой лестницы, которая вела за кулисы. Потому очень удивился, когда кто-то толкнул его в плечо.

– Извините меня, – пробормотал, думая о чем-то своем, задевший его высокий крупный мужчина, кутавшийся в просторный черный плащ. На нем были широкополая шляпа и белый шарф.

– Это вы меня извините, – ответил дон Пьерино и как можно скорее вернулся в свой уголок. Он боялся, что его обнаружат, поскольку не хотел создавать трудности бедному Патрисо. Но тот человек, кажется, не придавал значения его присутствию, спустился по оставшимся ступенькам и пошел к гримерным артистов. Дон Пьерино смотрел ему вслед: «Неужели это он?» И действительно, человек оглянулся и на секунду остановился перед дверью, на которой висела табличка «Арнальдо Вецци». Потом сказал что-то и вошел внутрь. Священник чуть не упал в обморок – он толкнул величайшего тенора в мире! Дон Пьерино вздохнул, улыбнулся и снова сосредоточился на сцене, где Турриду пел заздравную песню, прославляя вино, которое все печали гонит прочь.

В комнате было холодно, это Ричарди почувствовал сразу. Он взглянул на большое окно, неплотно закрытое, через щель в комнату проникали порывы ледяного ветра. Они несли с собой запах сырой травы из королевских садов. Маленькие лампы над зеркалом были зажжены, и от них в комнате, залитой кровью, было светло как днем. Труп полулежал в кресле перед зеркалом, головой на столике и спиной к двери. Самого зеркала уже не было, нижняя часть полностью разбилась, верхняя забрызгана кровью. Повсюду валялись осколки.

Голова лежала на столике левой щекой, с правой стороны из горла трупа торчал большой кусок зеркала, в котором отражались остекленевший глаз и искривленный рот. Ричарди услышал тихое пение.

«Я хочу крови, даю волю гневу, ненавистью кончилась вся моя любовь»...

На той половине лица, которая была видна, в толстом слое румян пролегла борозда от слезы. Комиссар повернулся и увидел в углу между рамой разбитого зеркала и стеной призрак Арнальдо Вецци. Он стоял, колени были немного согнуты. Лицо в гриме, смеющийся рот паяца. Фальшивые слезы на глазах, настоящие слезы на щеках. Правая рука с раскрытой ладонью вытянута вперед, словно певец отталкивал и прогонял от себя кого-то. Из маленькой раны в правой стороне шеи хлестала широкой струей густая кровь, которую выплескивало из тела умирающее сердце. Ричарди долго спокойно глядел на образ умершего. Погасшие глаза призрака смотрели на комиссара, не видя его. Рот продолжал петь, хотя грудь уже не поднималась от вдохов.

Комиссар снова перевел взгляд на труп. Последняя песня паяца только для него. Ее не слышат даже те, кто служит в театре.

Он повернулся к двери и вышел из комнаты.

7

«Сельская честь» только что закончилась. Дон Пьерино смотрел на зрителей, которые, встав с мест, рукоплескали исполнителям. Он был вне себя от восторга и особенно гордился тем, что накануне своим обычным секретным путем – через боковой вход – попал на репетицию оперы и ему очень понравились исполнители. Среди них не было примадонн – только молодые талантливые артистки и артисты. И еще несколько скромных профессионалов, которые всегда под рукой. Очевидно, они прекрасно ладят между собой. Приятно видеть, что их дружба и уважение друг к другу создали успех этого вечера.

Большинство этих исполнителей были местными артистами, которых использовали, чтобы «заткнуть дыру» – заменить исполнителя или исполнительницу главной роли, когда те не могли выступить из-за болезни или по другой причине. Однажды они за неделю подготовили «Травиату» на замену «Лебединому озеру», которое пришлось отменить – прима-балерина вывихнула лодыжку. «В этот раз они действительно превзошли себя», – подумал дон Пьерино.

Публика во второй раз вызвала всех исполнителей, они вышли на сцену и, держась за руки, поклонились зрителям. В тот момент, когда дон Пьерино любовался поклоном, он услышал за своей спиной громкий женский крик возле гримерных.

Как священник, он привык внимательно прислушиваться к чужим чувствам в прохладной темноте исповедальни. А частое посещение горячо любимых оперных спектаклей научило его различать состояния души по тону голоса. В этом крике, несомненно, звучали изумление и ужас. Сердце дон Пьерино бешено забило. Он повернулся в ту сторону, откуда доносился вопль. Перед гримерной Вещи уже начали собираться люди.

Ричарди оглянулся и сказал, не обращая ни к кому конкретно:

– Сейчас я перейду в этот кабинет. – Он указал на маленькую комнату директора сцены. – Бригадир Майоне будет впускать ко мне по одному тех, кого я ему назову. Никто не уходит домой. Никто не выходит из театра. Никто не входит в этот кабинет без вызова. Вы не можете оставаться здесь, то есть должны уйти куда-нибудь... Соберитесь все на сцене и будьте там, пока мы не закончим работать. Кроме того, пусть театр освободят от всех, кто не мог пройти в эту часть здания, – зрителей, сторожей у входа и остальных. Но перед этим сообщите моим сотрудникам общие анкетные данные – имя, фамилию и место рождения.

Управляющий побагровел от гнева, поднялся на цыпочки и, заикаясь от возмущения, заявил:

– Такое оскорбление... просто невыносимо. Доступ в эту часть театра строго ограничен. Сюда проходят лишь избранные. И потом... вы хотя бы представляете, кто сегодня сидел в партере? Если бы мне пришлось спрашивать имя, фамилию и место рождения у синьора префекта, у принцев, у наших высших сановников... Я требую уважения к их положению в обществе и настаиваю на своем требовании.

– А мое положение в обществе – раскрывать преступления, и я обязан найти убийцу. Ваша же обязанность в сложившихся обстоятельствах, синьор, – создавать благоприятные условия для моей работы. Иное поведение будет преступлением, преследуемым по закону. Так что сдерживайте свои чувства, – прошипел Ричарди. Его зеленые глаза не мигая смотрели прямо в лицо управляющему.

Из маленького человечка словно выпустили воздух. В наступившей тишине стукнули об пол его каблуки. Управляющий опустил взгляд и пробормотал:

– Я сейчас же займусь этим. Но сообщу свое мнение о ваших действиях в соответствующие органы.

– Делайте, как считаете нужным. А теперь уходите.

Управляющий гордо расправил грудь, пытаясь вернуть хотя бы часть утраченного достоинства, повернулся на месте и направился в сторону сцены. Следом за ним удалились все присутствующие, и вместе с ними улетучился гул голосов, комментирующих происходящее.

Кабинет директора сцены был крошечным. Почти все его пространство занимал письменный стол, на котором лежали в беспорядке рисунки, записки, страницы из партитур с написанными от руки примечаниями. На стенах – афиши. Перед столом – два стула, один позади другого. Свет и воздух поступали из маленького окошка наверху. Первым Ричарди решил выслушать директора сцены Джузеппе Лазио, взлохмаченного человека, который взломал дверь гримерной Вецци.

– Какие в точности у вас обязанности?

– Я отвечаю за сцену. Управляю практически всем, что касается подмостков, – техниками, входом и выходом актеров, оборудованием. Всем, кроме художественной части. Словом, всей организационной стороной спектаклей.

– Что случилось сегодня? Прошу вас, расскажите мне все, даже те подробности, которые вам кажутся не важными.

Лазио наморщил лоб под рыжей шапкой волос.

– Закончилось интермеццо из «Чести», и мы готовились выпускать актеров для сцены после тоста. Это сцена хоровая, выходят сразу все исполнители. Реквизит был приготовлен, задник стоял на месте. Пришла синьора Лилла и позвала меня к входу на сцену.

– Синьора Лилла?

– Леттерия Галанте, но мы ее называем «синьора Лилла». Она заведует швейной мастерской нашего театра и сама приносит ведущим актерам сценические костюмы. Вы ее уже видели, это та... крупная... женщина. Она родом с Сицилии. Очень, очень хороший человек. Так вот, она пришла и сказала мне: «Директор, Вецци не открывает дверь. Мы стучали, мы его звали. Но он не отвечает!»

– Мы?

– Да, с ней была портниха из ателье. Их там тридцать, я знаю не всех. Они принесли для роли Канио костюм паяца, тот, который вы потом сами видели в руках у девушки. Я спустился вниз. Я торопился: между финалом «Чести» и началом «Пяцев» мало времени. А Вецци... как бы это сказать... был не всегда пунктуален. Иногда исчезал, надо было искать его по всему театру и даже вне театра. Он, знаете ли, великий человек, самый великий из всех. На сцене. Но вне сцены почти неуправляем. Один из тех, кто может уйти по своим делам, а все остальные должны подстраиваться под него. Ничего не поделаешь – привилегия таланта.

– А сегодня вечером он уходил? Вы видели, как он вышел?

– Я – нет. Но я постоянно перехожу с места на место, поэтому мог и не заметить. Как бы то ни было, я спустился к его гримерной и заметил, что дверь заперта на ключ. А такого никогда не бывало. Ни один из певцов, а Вецци тем более, не двинется с места, чтобы открыть дверь, когда его гримируют. Тогда я забеспокоился.

– И что вы сделали?

– Я тоже позвал Вецци, потом подумал, что он мог почувствовать себя плохо, и выбил дверь ударом ноги. Я воевал и привык к жутким зрелищам. Но столько крови сразу я еще никогда не видел. После меня в гримерную вошла синьора Лилла и громко закричала. Потом все забегали взад-вперед. Я остановил одного рабочего и послал его вызвать вас. Я правильно сделал?

– Конечно правильно. После вас в гримерную еще кто-нибудь входил?

– Нет. Точно нет. Я сам ждал вашего приезда возле двери. Я ведь уже говорил вам, что был на войне. Я знаю, как надо поступать в таких случаях.

– Последний вопрос. Скажем, гримерная закрыта на ключ. Но я не видел ключа в двери, ни внутри, ни снаружи. Это вы его вынули?

Лазио, пытаясь вспомнить, запустил пальцы обеих рук в рыжую шевелюру и растрепал волосы еще сильнее.

– Нет, комиссар, – сказал он наконец. – Ключа не было вообще. Теперь, когда вы заставили меня подумать о нем, я это вспомнил.

– Спасибо. Можете выйти отсюда. Но не уходите далеко, мне может понадобится еще какая-нибудь информация. Майоне, проведите ко мне обоих портних.

Синьора Лилла, блондинка с голубыми глазами и пронизательным взглядом, вплыла внутрь, как парусный корабль, и заполнила собой весь кабинет. Позади нее стояла маленькая худощавая девушка, которая по контрасту с ней казалась еще ниже и худее. Халат был ей велик, по меньшей мере на один размер. Великанша скрестила руки на груди, воинственно взглянула на Ричарди и ринулась в бой:

– Что это значит, никто не должен покидать театр? Вы что же думаете, это сделали мы? Мы здесь работаем, а не приходим сюда делать мерзости! Мы честные люди!

– Никто ни о ком не говорит ничего плохого. Садитесь и ответьте на мои вопросы. Расскажите, что произошло.

Женщина тяжело опустилась на стул, вздохнув при этом, словно разрешение сесть сняло камень с ее души и теперь она смогла говорить более вежливо. А может быть, она вздохнула потому, что прочла в зеленых глазах комиссара решимость, которой невозможно противостоять.

– Мы принесли их заранее, эти костюмы. Было еще достаточно времени до выхода. Обычные певцы их примеряют один раз, просят что-то поправить, если нужно, и конец. Но этому нужно по двадцать примерок. То ему коротко, то ему длинно. То широко, то узко. То пуговица под воротником не застегивается. Просто мука крестная! Мы находимся на четвертом этаже, комиссар. Если вы окажете честь подняться к нам, сами увидите, какая у нас теснота. Нас тридцать работников. Летом такая жара, невозможно дышать – от горячего угля для утюгов. К нам не попадает даже прохладный воздух из садов. А зимой, наоборот, приходится шить в перчатках с обрезанными пальцами, и даже если все печи топят, мы замерзаем. Но мы не жалуемся, верно, Маддалена? – Она повернулась к девушке. – Работа есть работа, и мы свою работу делаем хорошо. Театр Сан-Карло знаменит во всем мире, в том числе и своими костюмами, а костюмы – это мы.

Но, слава богу, костюм паяца наконец был готов, и даже последняя примерка прошла как раз сегодня вечером. Я захотела сама спуститься вместе с Маддаленой, посмотреть, хорошо ли теперь костюм сидит на Вецци. Но мы обнаружили, что дверь заперта.

Ричарди подумал, что не хотел бы оказаться на месте тенора, доведись в костюме еще что-то менять. Потом он вспомнил, в каком состоянии сейчас находится Вецци, и осознал, что беспокоится напрасно.

– Что вы предприняли?

– Позвали директора Лазио, чтобы он посмотрел и решил, что нам делать. Мы не хотели быть виноватыми, если спектакль начнется с опозданием. Директор пришел, мы ждали его перед дверью.

– А он что сделал?

– Постучал в дверь, позвал Вецци, потом выломал дверь ударом ноги. Вот это настоящий мужчина! – кокетливо заявила синьора Лилла.

Эта неожиданная перемена в ней поразила Ричарди.

– Потом, – продолжала она, – я заглянула внутрь и увидела такое... это как в нашем краю забивают тунцов. Я убежала оттуда, и на этом все.

– А вы, синьорина?

– Меня зовут Маддалена Эспозито. Я к вашим услугам, комиссар.

Маддалена была полной противоположностью синьоре Лилле. В ее голосе звучала покорность, и, говоря, она смотрела в пол. Одета в чистый синий халат, она держала руки сложенными на животе и твердо стояла на ногах, хотя была очень бледна.

– Вы подтверждаете все?

– Да, клянусь богом, комиссар. Маэстро никогда не бывал доволен своими костюмами, и мы примеряли ему этот костюм очень много раз. Потом я спустилась к его двери вместе с синьорой Лиллой, а дверь заперта. Не знаю, что еще сказать вам.

– Хорошо, вы свободны. Майоне, пришел ли фотограф?

8

Съемка места происшествия – это фотографирование трупа под разными углами зрения. Только после нее можно сдвинуть с места обнаруженные предметы и убрать их туда, где они будут храниться для будущего расследования. Ричарди всегда находил предлог, чтобы присутствовать при съемке, либо чтобы в последний раз взглянуть на место преступления, либо чтобы никто в суете не изменил какую-нибудь мелочь, необходимый элемент для его работы. Поэтому он вышел из кабинета директора сцены, разыскал фотографа, полицейского техника и судмедэксперта, которые потели в своих пальто, ожидая возможности войти в гримерную. Комиссар поздоровался с ними кивком и вернулся к осколкам зеркала, мертвецу и его призраку.

В гримерной стало еще холоднее, чем раньше, вечерний воздух увлажнился и постепенно проник через полуоткрытое окно.

Ричарди выглянул в окно и увидел внизу, примерно в двух метрах под ним, одну из клумб Королевского дворца. Просто невероятно, до чего человек теряет ощущение высоты от ходьбы вверх и вниз по лестницам этого театра. Перестаешь чувствовать, высоко ты над землей или низко. Когда он вернулся в гримерную, его сразу же ослепила магниевая вспышка фотоаппарата. Он зажмурился и стал тереть себе глаза. Теперь он ясно видел только призрак тенора, повторявший свою оперную партию. Как только его глаза привыкли к бликам вспышки, он разглядел то, чего не заметил в прошлый раз. На низком диване, рядом со снятой с петель дверью, лежали черное пальто и широкополая шляпа. А на полу между диваном и ногами трупа валялся белый шерстяной шарф. Что-то настораживало. Что именно? Комиссару понадобилась лишь доля секунды, чтобы найти ответ. Шарф лежал среди множества кровавых пятен, как раз в луже густой крови, но был совершенно чистым. Комиссар быстро подошел к дивану и снял с него пальто и шляпу. Подушки под ними были забрызганы кровью, все, кроме одной, в синюю и белую полосу – идеально чистой.

Судмедэксперт ходил вокруг трупа, осматривая его, и быстро писал что-то в записной книжке в черной обложке. Когда фотографические вспышки перестали вспыхивать, он вместе с техником перенес мертвое тело на толстый ковер, испачканный в крови. Шерстяной свитер Вещи был тоже весь пропитан кровью. «Сколько же крови в человеческом теле? И сколько в нем души? – думал Ричарди, слушая песню паяца, стоявшего в углу с поднятой рукой. – Что исчезнет раньше – это пятно с ковра или эхо этой песни из моей души?»

Эксперт был серьезным и добросовестным профессионалом. Ричарди уже видел и успел высоко оценить его работу. Этому врачу было пятьдесят лет, он приобрел большой военный опыт в провинции Венето, а между шестнадцатым и восемнадцатым годами воевал на плато Карст (которое итальянцы называют Карсо, а местные жители – Крас) и даже был награжден. Звали его Бруно Модо. Комиссар говорил ему «ты», а таких, с кем Ричарди поддерживал такие особенно доверительные отношения, было очень мало.

– Итак, Бруно, что скажешь?

– Значит, так. Рана колотая, пробита сонная артерия. Смерть наступила от потери крови. В этом нет никакого сомнения. Но в то же время, – медик сделал круговой жест рукой, – есть синяк под левым глазом на скуле. След удара, возможно кулаком. Больше на первый взгляд ничего не нахожу, других повреждений и остатков кожи под ногтями тоже нет... Суставы пальцев рук на своих местах... кожа волосистой части головы не повреждена.

Говоря это, медик двигался вокруг лежавшего на полу трупа, рассматривая его через очки, которые носил на кончике носа. Модо то поднимал ладонь убитого, то раздвигал ему волосы осторожно, почти с уважением. Вот почему он так нравился комиссару.

– По-твоему, сколько времени прошло?

– Немного. Я бы сказал, часа два, возможно, меньше. Но точно определю потом, в больнице.

«Потом, в больнице, – подумал Ричарди. – Тогда от тебя, – он взглянул на мертвеца, – останутся жалкие клочья, сшитые как можно лучше, и голос, который поет в темноте отрывок из оперы. Больше ты не будешь ворчать, капризничать из-за костюмов. Твой следующий и последний костюм сошьют тебе без всякого уважения».

– Послушай, Бруно. Способ... извини, орудие преступления, – поправил себя комиссар и криво улыбнулся, заметив про себя, что фамилия медика Модо созвучна со словом «способ». – Это не осколок зеркала?

– Я бы не стал говорить об орудии. По-моему, таким острым куском стекла невозможно нанести удар не порезавшись. А я не вижу следов крови на том месте осколка, которое бы зажималось в кулаке. Скорее он упал на осколок. Посмотри, какой он толстый и острый. Да, точно, его ударили кулаком, и он влетел в зеркало. Смотри, он тяжелый, высокий и тучный, вполне могло быть.

В разговор вежливо вмешался Майоне:

– Доктор, можно понять, как его сбили с ног? То есть вы можете пояснить, как именно нанесен удар, от которого он влетел в зеркало?

– Нет, бригадир. Не вижу других синяков, но это ничего не доказывает, его могли ударить локтем или плечом. Его тяжелый шерстяной костюм мог смягчить удар. Потом он упал на стул и умер. При такой ране смерть наступает быстро, всего за несколько секунд. Посмотрите вокруг, он залил кровью всю комнату.

Ричарди бросил быстрый взгляд на призрак тенора, немного согнувшего колени и поднявшего руку. «Этой ладонью ты разбил зеркало? – подумал он. – И почему ты плачешь? Разве ты не паяц?»

– Ладно. Если вы закончили здесь, идем на сцену.

Когда он и Майоне поднялись на сцену, их встретил хор голосов. Место подходящее, но голоса возмущенные и протестующие. Кто-то хотел знать, арестован он или нет, кто-то жаловался, что его заждалась семья, кто-то хотел есть, кто-то замерз. И все спрашивали, почему их до сих пор не отпускают. Ричарди медленно поднял руку, и все стихло.

– Успокойтесь. Сейчас я отпущу вас по домам. Но сначала я должен увидеть вас и понять, кто вы такие. Все участники спектаклей, встань те справа, обслуживающий персонал, техники и оркестранты – слева.

На минуту воцарился беспорядок, такое разделение эти люди не репетировали ни разу. Несколько толчков, немного раздраженного ворчания – и на сцене выстроились две большие группы.

Точнее, три. Один человек остался стоять посередине. Он был в костюме священника.

– А вы? Решайте, куда встать! Разве вы не в сценическом костюме?

– Комиссар, этот костюм не сценический. Я дон Пьетро Фава, помощник священника прихода Сан-Фердинандо.

– Вы-то что делаете здесь? Потерпевший был уже мертв, когда его обнаружили. Кто вас вызвал?

– Нет, комиссар, я... говоря правду, я пробрался сюда тайком.

Все рассмеялись, хотя смех получился немного нервный. Директор сцены вышел вперед, взъерошил рукой свои густые рыжие волосы и сказал:

– Если вы разрешите, комиссар, я могу дать объяснение.

– Говорите!

– Дон Пьерино, можно сказать, наш давний друг. Он любитель оперы, страстный любитель. Уже два года с моего разрешения Патрисо, сторож входа со стороны садов, пропускает его сюда, но сам дон Пьерино думает, что об этом никто не знает. Он никому не мешает, стоя

на балконе узкой лестницы. Он слушает оперы. Мы привыкли видеть его, и если его нет, нам кажется, что чего-то не хватает. И певцы, и профессора нашего оркестра считают его своим талисманом.

Слова директора сцены были подтверждены одобрительным гулом голосов и большим числом улыбок. Дон Пьерино стоял один в центре сцены, которую любил так горячо, покраснев от гордости, удивления и смущения одновременно.

– Значит, вы знаете оперу, верно? И театр тоже знаете. Но вы не певец, не оркестрант и даже не работаете здесь. Вы знаете всех и в то же время не знаете никого. Хорошо.

Затем комиссар обратился ко всем присутствующим:

– Полицейские записали ваши анкетные данные. Несколько дней вы не должны уезжать далеко от города. Если же кому-то понадобится уехать, пусть придет в полицейское управление и скажет об этом. Если кто-то что-то захочет сказать или что-то вспомнит, пусть тоже придет в полицейское управление и расскажет. А сейчас можете уходить. Кроме вас, падре. С вами я должен немного поговорить.

Вся толпа вздохнула с облегчением, и люди, тесня друг друга, поспешили к выходу. Один лишь дон Пьерино остался на своем месте. Теперь вид у него стал грустный и озабоченный. Бояться нечего, но он считал, что в такие времена, как эти, иметь дело с полицией в любом случае плохо. А еще священник искренне оплакивал смерть Вецци и с болью думал о его голосе.

Очень изысканное доказательство любви Бога к людям, дар Бога любителям оперы. И больше он никогда не услышит этот голос – разве что из каркающего граммофона, который стоит в его маленькой комнатке.

9

Комиссар подошел к священнику. Бригадир, который был старше по возрасту, все время шел на два шага позади комиссара. Дон Пьерино заметил, что толстяк-офицер практически ни на секунду не теряет из вида своего начальника, но при этом еще и постоянно посматривает вокруг. Словно хочет убедиться, что тому ничто не угрожает. Должно быть, очень любит комиссара.

Ричарди вызывал у дона Пьерино странное чувство. Если посмотреть издали, кажется, что комиссар ничем не примечательный человек, роста среднего, не худой и не толстый, одежда среднего качества. Но дон Пьерино поймал взгляд Ричарди, когда тот прибыл на место преступления. Глаза комиссара много ему поведали. Дон Пьерино привык искать и находить правду, скрытую в выражении лица. На этот раз он словно заглянул в окно и увидел за ним панораму из нескольких частей.

Он увидел застарелую душевную боль, до сих пор острую, давнюю спутницу комиссара. А еще одиночество, ум и склонность к иронии. В разговоре с управляющим театром, что-то жалко лопочущим, ирония переросла в язвительный сарказм. Так продолжалось всего минуту, но священник почувствовал, что комиссар – человек сложный и страдает от душевной муки.

Теперь комиссар стоял перед ним с непокрытой головой, руки в карманах пальто, которое он не снял, несмотря на жару. И эти глаза – зеленые, прозрачные, немигающие. На лбу легкие морщины. Одиночество и боль, но вместе с тем ирония.

– Итак, падре, вы сегодня покинули свою территорию?

– Разве для священника существует своя и чужая территория? Я лично никогда не видел места, где бы не нуждались в священнике. Нет, сегодня я не служил, если вы это хотели узнать. Но, как видите, я в своей униформе.

На лице Ричарди появился намек на улыбку. Комиссар на мгновение опустил взгляд, а когда поднял его, морщины на лбу разгладились, правда, выражение лица осталось прежним.

– Есть одежды, снять которые нельзя, униформа это или нет. В этом смысле мы с вами похожи – всегда в форменной одежде.

– Важно не пугать людей своей униформой. Они должны успокаиваться, когда видят ее. А чтобы не пугать других, надо не пугаться самому.

Комиссар вздрогнул, словно священник внезапно дал ему пощечину. А потом слегка наклонил голову вбок и с новым интересом взглянул на собеседника. Майоне, стоявший у Ричарди за спиной, переступил с ноги на ногу. Опустевший театр молча слушал разговор двух собеседников.

– А вы, падре? Вы никогда не чувствуете страха?

– Чувствую почти всегда. Но тогда я прошу помощи у Бога, нашего вечного отца, у людей.

И выхожу из этого состояния.

– Отлично, падре! Вы молодец! Это хорошо для вас. А теперь перейдем в другую тональность, так, кажется, это называется? Во всяком случае, это подходящее место, чтобы менять тональности. Поговорим о печальном. Итак, вы хорошо знаете оперное искусство, равно как и это здание. Заключите ли вы соглашение о сотрудничестве с полицейским?

Опять этот язвительный тон. И ни разу не улыбнется, не моргнет. Эти его глаза – два куска зеленого стекла – все время смотрят в глаза дону Пьерино.

Священники не заключают соглашений, комиссар. Они не могут откровенничать по своему желанию. В этом смысле они не принадлежат самим себе. Но они ни на кого не доносят. Я не стану шпионить ни за одним беднягой, с которым случилось несчастье.

– А, понимаю! Лучше, чтобы этот бедняга отправился на каторгу, возможно, из-за чьего-то недосмотра. А виновный пусть себе ходит по улицам и совершает преступления. Вы правы, падре. Я хочу сказать, что поищу себе других помощников.

Майоне удивился, он редко слышал, чтобы Ричарди говорил так долго. Бригадир плохо понял смысл диалога, но чувствовал, что комиссар сейчас пребывает в самом мрачном настроении. Этот маленький священник, с виду спокойный и мирный, покачивающийся с пятки на мысок, сложив на груди руки, поставил Ричарди в трудное положение. Бригадир походил на охотничьего пса, которому не терпится ринуться по следу добычи. По его мнению, эти двое только зря теряли время. Однако дома сидел шурин, который не слишком торопился вернуться к себе.

– Нет, комиссар, – ответил дон Пьерино. – Этого я не хотел сказать. Я предоставляю вам любую информацию, которую вы пожелаете получить. Но не просите меня – ни сейчас, ни позже – обвинить кого-нибудь. Ваше правосудие – суд людей. А я имею дело с другим судом – с тем, который умеет не только наказывать, но и прощать.

– Я не стану нарушать границы вашей области, падре. Но не позволю и вам нарушить границы моей. Жду вас завтра утром в моем кабинете, в полицейском управлении, в восемь часов. Прошу вас, не опаздывайте.

Не дожидаясь ответа, он повернулся и ушел. Майоне, погруженный в свои мысли, еще минуту смотрел на священника, потом покинул театр вслед за Ричарди.

Было уже одиннадцать часов, когда сыщики вышли из боковой двери. Но, несмотря на это, у входа Ричарди ждала толпа любопытных и журналистов. Их не остановил даже бешеный ветер, насквозь продувавший портик. Майоне прошел вперед и стал решительно теснить в сторону тех, кто преграждал путь комиссару, желая вытянуть из него комментарий для вечерних газет. Сам Ричарди даже не поднял взгляда. Он привык не обращать внимания на живых и мертвых, которые звали его, хотя всегда слышал их.

За время короткого пути до управления друзья мало говорили между собой. Майоне и так прекрасно представлял себе, каким образом пойдет расследование с завтрашнего дня. Они будут выяснять, как потерпевший провел последние часы своей жизни, опрашивать возможных свидетелей. Бригадир знал метод комиссара. Ричарди как одержимый отслеживал передвижения, ситуации, слова, которые могли бы указать ему верный путь. Ближайшие дни будут утомительными. Майоне надеялся, что хотя бы шурин уже ушел из его дома.

Дойдя до особняка, где помещалось полицейское управление, Ричарди кивнул бригадиру на прощание и пошел вверх по улице Толедо. Шел он быстро, втянув голову в плечи, потому что ветер дул ему в спину. В другое время года в городе в этот час еще звучали песни и голоса, но сейчас царил тишина. Ветер разносил по улице открытки и листы газет. Они кружились в качающихся пятнах света, которые отбрасывали подвешенные к электрическим проводам фонари. Стук шагов комиссара по камням тротуара сопровождал стонам ветра, который без всякого ритма и порядка взывал то в подъезде какой-нибудь лавки, то в воротах старинных дворцов. Мертвец с площади Карита продолжал терять кровь и мозг и снова сообщил комиссару, что никогда не отдаст вору свои вещи. Ричарди не удостоил его взглядом.

Комиссар размышлял. Открытое окно и такой холод в гримерной человека, который должен был беречь свой голос и опасаться сквозняков, – бессмыслица. Чистое пальто на запачканном кровью диване – бессмыслица. Белый, без единого пятна шарф на полу – бессмыслица. Полосатая подушка, единственная из всех, без единого пятна крови – бессмыслица. Закрытая дверь – бессмыслица.

А если все это вместе имеет смысл?

На углу улицы Сальватора Розы мальчик-призрак снова спросил, может ли он спуститься вниз поиграть. Бедные изломанные кости! Этот образ стал тускнеть. Может быть, он исчезнет

совсем и мальчик спокойно уснет вечным сном. Ричарди пожелал себе, чтобы это случилось поскорее.

Он пришел домой.

10

Роза Вальо, семидесяти лет, родилась вместе с Италией, но не осознавала этого ни когда родилась, ни потом, всегда почитая родиной Семью. Она была сильным и решительным стражем этой Семьи.

Когда Роза вошла в дом баронов Ричарди ди Маломонте, ей было всего четырнадцать лет. Ее, десятую из двенадцати детей в семье, баронесса выбрала без малейшего сомнения.

Роза помнила этот день, как вчера. Высокая светловолосая женщина, улыбаясь, договаривалась с отцом о цене за нее. Роза стала подругой сына хозяев, который был лишь немного старше ее, они дружили, пока он не уехал учиться в Неаполь, где и остался надолго. Роза обладала живым умом и потому скоро стала связующим звеном для всех членов хозяйской семьи в большом доме в Фортино. Когда умерли сначала старый барон, а потом баронесса, Роза продолжала вести дела в доме так, словно хозяин и хозяйка уехали куда-то и каждую минуту могут вернуться.

Вместо них вернулся сын, теперь ему было уже сорок, он привез свою супругу. Вечером того дня, 25 марта 1931 года, хлопоча на кухне и в очередной раз вздыхая по поводу того, что ужин все еще не готов, Роза подумала о новой хозяйке – «его девочка», и на ее губах мелькнула улыбка. На самом деле маленькой баронессе Марте было уже двадцать лет, но она действительно выглядела как подросток – тонкая, хрупкая, черноволосая, с такими зелеными глазами, что их цвет покорял душу. И сколько же в них таилось боли!

Роза неоднократно спрашивала себя, откуда эта боль в глазах молодой баронессы. Хозяйка имела все, что хотела, – уют и покой, достаток, любящего мужа. Но, сопровождая хозяйку во время долгих прогулок, Роза чувствовала, что боль идет вместе с ними. Они шли по сельской местности возле Фортино, мимо крестьян, которые при их приближении прекращали работать и снимали шляпы, противно и резко пахло козами, а за спиной, на шаг позади, неотступно следовала боль. Может быть, баронесса что-то вспоминала или оплакивала?

Баронесса Марта говорила мало, но нежно улыбалась Розе, а иногда гладила ее рукой по лицу, словно это она на двадцать лет старше, а не наоборот.

Роза вспомнила то октябрьское утро последнего года девятнадцатого века, когда баронесса, сидя на скамейке террасы и вышивая, подняла на нее взгляд и сказала:

– Роза, с завтрашнего дня мы начинаем шить простыни для колыбели.

Вот так, просто. С того дня Роза стала няней Розой и останется ею до конца жизни.

* * *

– Ты же знаешь, я не хочу, чтобы ты ждала меня и не ложилась. Для тебя уже поздно, ты должна спать.

Ричарди чувствовал, как домашнее тепло понемногу вливается в его продрогшее от ветра до костей тело. Пахло дровами, горевшими в печи, с кухни тянуло чесноком, фасолью, растительным маслом. Лампа под уютным абажуром рядом с его креслом включена, на подлокотнике кресла лежит газета. В спальне дожидаются фланелевый халат, тапочки из мягкой кожи. Сетка для волос. «Няня позаботилась», – подумал он.

– Как вы это представляете, я пойду спать и оставлю вас голодным? Я что, не знаю, что вы ложитесь в постель голодным? И носите все время один и тот же костюм и рубашку, если я не положу вам свежие на кровать? Это ненормально – мужчина в тридцать лет без женщины и в наше время, когда мужчин чуть ли не арестовывают за то, что они холостые. А в городе

столько красивых девушек. Чего вам не хватает? Вы красивый, богатый, молодой, известный. Устройте меня в приют для стариков и начинайте спасаться от одиночества.

Ну наконец-то! Наставление закончилось! Комиссар, успевший за это время сесть за стол, старался даже не дышать, пока слушал эту бесконечную речь. Надо было дать няне высказаться, а у него была намечена встреча, на которую он уже сильно опоздал.

Роза смотрела на своего питомца. Как обычно, он ел жадно, словно голодный волк, – наклонился над тарелкой и бесшумно глотал большие куски. Она подумала, что получить удовольствие от вкуса еды он тоже себе не позволяет. Он никогда ничем не наслаждается – ни едой, ни чем-либо другим. В нем проявилась та же скрытая боль, что таила в себе его мать. Те же зеленые глаза. И боль та же. Роза всегда находилась рядом с ним, всю жизнь, и в те ночи, когда у него был жар, и в те часы, когда ему было одиноко. Когда ее питомец учился в колледже, она ждала его на каникулы, на праздники, в воскресенья и, не дожидаясь его просьбы, помогала найти вещи, которые ему нравились. Она ощущала его мысли, хотя и не знала, о чем он думает, чувствовала их, как слышат неясный шум. Она стала его семьей, а он – смыслом ее жизни. Роза отдала бы руку за то, чтобы хоть раз увидеть, как он смеется. Она хотела бы знать, что он спокоен, и больше нет этого расстояния между миром, который быстро движется, и ее питомцем, который смотрит на него издали, – руки в карманах, прядь волос на лбу, ни улыбки, ни слова. Чего же ему все-таки не хватает?

Роза почувствовала прилив материнской нежности к комиссару: ест с таким сосредоточенным видом, словно ребенок. Он любит фасоль с детства.

На самом деле Ричарди терпеть ее не мог, но не хотел огорчать няню. К тому же в этот вечер проголодался, возможно из-за холода, который все еще пронизывал его до костей.

Комиссар вспомнил о том, что видел на месте преступления. Если пальто и шарф принесены в гримерную после смерти Вещи, кто их принес? И почему? После преступления в эту комнату были допущены только директор сцены Лазио, начальница портних синьора Лилла и девушка-швея. Подбирая соус куском хлеба, Ричарди вспомнил, с каким восхищением воинственная дородная Лилла смотрела на директора сцены. Может быть, эти двое сговорились между собой? Или маленькая портниха по фамилии Эспозито заодно с ними? Нет, слишком много людей. И слишком много крови, значит, совершенно ясно, убийство не планировалось. А открытое окно? А маленькая полосатая подушка? Столько вопросов, а его второе зрение ему не помогает. Такое случалось часто, ощущения жертвы, которые улавливал комиссар, могли направить его по ложному пути и привести к ошибке. Ведь это не сознательно составленные сообщения, а чувства – страдание, гнев, ненависть и любовь тоже.

Он выпил стакан красного вина, потом еще стакан. После каждой новой встречи с чьей-то смертью комиссар с трудом засыпал. Он чувствовал странную дрожь в груди, словно ждал чего-то. Может быть, это страх перед собственной смертью? Боязнь своей последней минуты? Хотя чего бояться? Пока ты жив, смерти нет, а когда она есть, тебя больше нет. «Но человек встречается с ней», – сказал он однажды в семнадцать лет одному иезуиту в колледже. «Да, но дальше – Бог», – ответил тот.

А есть ли Бог? Осушая глоток за глотком свой стакан, Ричарди вспомнил странного священника, с которым встретился в театре. Кажется, он хороший человек. И тоже считает, что Бог есть. «А где мой Бог, когда я вижу образы боли и чувствую ее эхо? Я один должен успокаивать эту боль?»

Ричарди поднялся из-за стола. Надо встать, иначе няня всю ночь проведет здесь, глядя, как он пьет, и даже не начнет убирать со стола. Он нежно поцеловал ее в лоб и пошел в спальню, где его ждала та встреча.

11

Белокурая женщина шла вдоль стен площади Каролина в сторону улицы Дженнаро Серры. Холодный ветер с моря толкал ее в спину, но она не торопилась. Остальные немногочисленные прохожие спешили скорее оказаться в своих теплых домах. А она, в отличие от них, не имела никакого желания стоять под взглядом, который проникал внутрь ее, в поисках спрятанных чувств.

Она хорошо научилась скрывать свои чувства, прятаться. Нельзя, чтобы все открылось и все узнали, что произошло. Она все медленнее шла вперед в слабом свете фонарей и чувствовала на себе руки своего любовника. Вспоминала его лицо, голос, частое дыхание. Думала о словах, которые они говорили друг другу, о планах и обещаниях. «Как такое могло случиться?» – спрашивала она себя. И как ей теперь скрыть от мужчины, что она любит другого и мечтает уйти от него с тем, другим?

Женщина провела ладонью по лицу, под шляпой, скрывавшей ее прекрасные глаза. Да, она плачет. Надо держать себя в руках, она слишком близко к дому. Перед ее глазами уже мелькнула темная громада церкви Санта-Мария дельи Анджели, которая высится в верхней части холма Пиццофальконе.

Скоро она предстанет перед мужчиной, который любит ее настолько сильно, что понимает, о чем она думает. Она раскаивалась, страдала из-за него и из-за своего предательства. Она должна сделать так, чтобы никто не узнал правду. Должна защитить его от позора.

Женщина ускорила шаг и снова спросила себя: что же произошло?

Ричарди закрыл за собой дверь спальни. Так он поступал каждый вечер, а перед тем, как лечь в постель, снова приоткрывал, чтобы услышать тяжелое дыхание няни Розы и убедиться, что та послушалась его и отправилась спать. Он переоделся в халат, натянул сетку на волосы и погасил свет. Подошел к окну и раздвинул занавески. Небосвод был так чисто подметен сильным северным ветром, что блестел, как зеркало. В этом ясном небе сияли четыре ярких звезды, но комиссар хотел, чтобы на него падал не их свет, а слабый луч лампы, стоявшей на столике в окне соседнего дома напротив его окна. Столик рядом с креслом, в кресле молодая женщина что-то увлеченно вышивала. Это был ее личный уютный уголок в большой кухне. Ричарди уже знал, что зовут соседку Энрики и она старшая из пяти детей в семье, а их отец торгует шляпами. Одна из сестер Энрики уже замужем, имеет маленького сына и живет с мужем в том же квартале. Да, семья у них большая. Девушка вышивала левой рукой и была погружена в свои мысли. На ней очки в черепаховой оправе. Еще Ричарди знал, что она слегка наклоняет голову, когда на чем-то сосредотачивается. И движения у нее плавные и изящные, хотя, беседуя с кем-нибудь, она не знает, куда деть руки. И она левша. Кроме того, она иногда смеется, когда играет с маленькими братьями или с племянником. А иногда плачет, когда находится одна и думает, что ее никто не видит.

Не проходило и вечера, чтобы комиссар не подходил ненадолго к окну, становясь на время отражением жизни Энрики. Это тот единственный вид отпуска, который он позволял своей израненной душе. Он видел ее за ужином, слева от матери, спокойную и любезную с родными. Видел, как она слушала радио, тогда ее лицо выражало сосредоточенность и внимание. Как она слушает пластинку через монументальный граммофон – с восторгом и намеком на улыбку. Как читает, наклонив голову и облизывая палец языком, когда надо перевернуть страницу. Спорит с другими, спокойно и упорно отстаивая свою правоту.

Ричарди ни разу не говорил с ней, но был уверен, что никто не знает Энрику лучше, чем он.

Он никогда бы и не подумал, что это случится. Однажды в воскресенье няня не смогла купить зелень с тележки у торговца с Каподимонте, и Ричарди пошел сам, повернулся, чтобы идти назад с пучком брокколи под мышкой, и оказался лицом к лицу с Энрикой. Он до сих пор вздрагивал, вспоминая странное чувство, которое испытал тогда, – смесь удовольствия, смущения, радости и ужаса. Потом он сотни раз видел перед собой в полудреме – перед тем, как уснуть, или сразу после пробуждения – эти глубокие черные глаза. Он тогда убежал, но сердце прыгало у него в груди, а удары крови отдавались громким стуком в ушах. Бежал, роняя по пути брокколи, прикрыв глаза, чтобы удержать в памяти эти длинные ноги и намек на улыбку, который, кажется, увидел мельком.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.